

Курчаткин Анатолий

Солнце сияло

Главный герой романа «Солнце сияло» — современный Петруша Гринев, мужающий на наших глазах. Попав после армии в постперестроечную Москву, он изведal все искушения, которые она ему предложила, попал в ловушки, на каждом шагу расставленные для него эпохой перемен и передраг, но остался цел и даже обрел внутреннюю свободу. Роман читается на одном дыхании, напоминает каждому о пережитом, заряжает оптимизмом и верой в собственные силы. Приключенческий и реалистичный, задорный и глубокий, свежий и страстный — он воплощает в себе все лучшие черты жанра, все то, за что мы так любим эту форму повествования.

*Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел,
что буря утихла. Солнце сияло.
Снег лежал ослепительной пеленою
на необозримой степи.
Лошади были запряжены.*

А.С. Пушкин. "Капитанская дочка"

*Всем, кого я любил и,
несмотря ни на что,
продолжаю любить*

Глава первая

Что говорить, лгать — недостойно, я это прекрасно осознаю. Но в прежние времена ложь, случалось, доставляла мне такой кайф — я просто не мог отказать себе в этом удовольствии.

Ложь в некотором смысле сродни деньгам. В том смысле, что, как и деньги, она дает чувство власти. При этом никаких забот о сохранности кармана. Наоборот: полная безопасность и тайное наслаждение знанием истины, которой владеешь лишь ты.

Вот и тогда, когда я обманул Ловца, сказав ему, что эта гёрл — настоящее чудо и голос у нее — Галина Вишневская с Архиповой, а вместе с ними и Монтсеррат Кабалье отдыхают, я тоже элементарно упивался своим могуществом. Это еще то было зрелище — видеть, как Ловец плывет от счастья. Я его превратил в идиота. У него только не текли слюни на подбородок. «Да, в самом деле?» — с блаженной улыбкой вновь и вновь просил он подтвердить мое заключение. «Нет, ну о чем разговор!» — отвечал я — с такой страстной серьезностью, что никакой детектор лжи не смог бы уличить меня в фальши.

Знать бы, что произрастет из всего этого, я бы заткнул себе пасть собственным кулаком. Залил ее раскаленным свинцом, зашил суровыми нитками. Через край, крупной стежкой, как подворотничок к гимнастерке.

Но что проку сожалеть о случившемся. Сослагательное наклонение — дурная вещь. Может быть, самая дурная из тех, что существуют на свете. Сделанного не вернешь, и «быкать» — это попытка оправдаться перед историей своей жизни.

Я, собственно, и не сожалею о сделанном. Все же я испытал такой кайф — и сейчас во мне все заходит от восторга, когда случается вспомнить о нем.

Но эта моя ложь Ловцу все и переменила в моей жизни.

А как до того мне фартило. Так, во всяком случае, кажется мне теперь, задним числом. Хотя тогда вовсе так не казалось.

Когда мы познакомились с Ловцом, я обретался в Москве уже несколько лет и успел порядком врасти в ее каменистую почву. Во всяком случае, ее просторы перестали давить на меня своей грандиозностью, я освоился в трех-че-тырех ее районах, не считая центра, обзавелся знакомыми и друзьями, мне было куда пойти, с кем провести свободное время, а

главное — я научился выдаивать из ее тугих сосцов свою порцию презренного металла, которой мне вполне хватало и на то, чтобы быть сытым, и на то, чтобы ходить пристойно одетым, а также иметь кое-какой жирок на тот случай, если жизнь обратится ко мне своим тылом.

Правда, так получалось, что жирок этот неизменно висел не на моих костях. Расчетливости Господь послал мне не с лихвой, и при своей склонности, как я уже теперь знаю о себе, к авантюризму, весь скапливающийся жирок я раздавал по чужим карманам. Меня не просил одолжить только ленивый. Потому что знал: есть что одолжить — я одолжу. Следовало бы отметить, мне нравилось это делать. Вернее, так: доставляло совершенно невероятное удовольствие. Замечательно было чувствовать свое могущество. Давая деньги в долг, ощущаешь себя таким гигантом — будто достаешь головой до облаков, и я не мог отказать себе в этом ощущении. Когда я снял свой первый клип и получил на выходе три с половиной тысячи баксов чистыми (по тем временам, 1994 год, страшные деньги), я их все тут же ссудил главе бригады, строившей декорации. Это был хлесткий жилистый парень лет тридцати, ростом за метр восемьдесят, а весу в нем — килограммов семьдесят, не больше, не тело, а сплошные перебивы мышц. Я им любовался — такой он был замечательный экземпляр мужской породы. И так его бригада подчинялась ему: бежали, куда нужно, стоило ему пошевелить бровью, несли, поднимали, кидали, держали. Он только недавно освободился из заключения. И ему нужны были деньги, чтобы организовать свое дело, встать на ноги. Чтобы завязать с тем занятием, к которому пришлось вернуться после отсидки. Занятие его было — выбивать для заимодавцев деньги из должников. И ужасно ему хотелось с ним завязать, начать солидную жизнь. Браткам моим тоже это все уже поперек горла, говорил он. Бригада его, что строила декорации, как раз этими братками и была. Конечно, я ссуживал те свои три с половиной тысячи зеленых не с концами, я собирался их получить обратно, но вышло, что они ушли от меня навсегда. Государство — это же официальный рэкетиер, это же падлы, на которых пробы ставить негде, говорил мне бывший бригадир моей строительной бригады, объясняя при встрече, куда ушли мои деньги. По его словам выходило, что он заплатил и за то, и за это, дал взятку и тому, и этому, а в итоге, чтобы открыть свое дело, денег не осталось.

Тот случай послужил мне хорошим уроком. Я перестал

развешивать уши и складывать все яйца в одну корзину. А прежде всего — давать из того, что не мог посчитать жирком. О нескольких месяцах, которые прожил, перебиваясь с хлеба на воду и ходя с подтянутым к позвоночнику животом, мне до сих пор не хочется вспоминать. Племяннику Ра-мо, которого так осуждал Дидро за его прихлебательство, было хотя бы куда пойти постоловаться, а мне — впору садиться в подземном переходе с протянутой рукой. Но отказать себе в удовольствии одалживать деньги я не мог. Зачем доверять их какому-то незнакомому дяде в банке, когда можно отдать друзьям? Друзья есть друзья, и если кто, когда тебе потребуется, не сумеет вернуть долг вовремя, — что за проблема, коль яйца разложены у тебя по разным корзинам?

В сущности, то обстоятельство, что на моих собственных костях, когда возникла нужда, не оказалось ни грамма жирка, и загнало меня в капкан, из которого я не смог выбраться самостоятельно. Если бы не Ловец, может быть, я вообще гнил бы уже где-нибудь в земле.

Впрочем, если вести отсчет, что когда из чего произошло, то нужно, наверно, обратиться к той поре, когда после дембеля я решил никуда не уезжать из Москвы и остаться в ней.

Я был призван отдать священный долг родине в одной стране, а демобилизовался в другой. Того, что такое случится, не могли предсказать даже наши замполиты, у которых, о чем ни спроси, на все всегда был ответ. Тем более не мог предположить ничего такого никто из нас, служивших срочную. Даже тогда, когда в апреле 91-го нас подняли по тревоге посреди ночи, открыли пирамиды, выдали оружие, патроны на два полных рожка, посадили в машины — и рассвет мы встретили уже на обочине улицы Воровского в веренице таких же машин, прибывших из других частей. В Москве в этот день проходил какой-то митинг, и мы, если что, должны были что-то делать — согласно приказу. Но приказа не поступило, и мы, простояв до вечера в своей веренице, готовые от голода грызть скрывающий нас от глаз улицы брезент, двинулись обратно к себе.

Я служил не в самой Москве, а в Балашихе — километров двенадцать от Москвы, ну, может, пятнадцать. И даже, если быть совсем точным, не в Балашихе, а рядом, в лесу — в батальоне охраны штаба войск ПВО. Ночь спишь — вечером в наряд и сутки в карауле. Пришел из караула, ночь спишь — вечером снова в караул. До Москвы нужно было добираться

автобусом, а потом еще электричкой. Электричка приходила на Курский вокзал, и с той поры этот вокзал долго был для меня пуп Москвы, ось, вокруг которой она вращает ревущий автомобильными моторами гигантский жернов своего мегаполиса.

Из леса, где однообразным хороводом нарядов проходили дни моей службы, до гранитов, асфальтов и фонтанов первопрестольной был полный час разнообразной езды, но оттуда, откуда меня призвали отдать отечеству свой гражданский долг, место моего лесного проживания смотрелось самой Москвой, и родители в письмах то и дело величали меня москвичом. Им было лестно, что тайной волей высоких судьбоносных решений их сына не загнали куда-нибудь на северо-восточную оконечность великой родины, где и летом все та же зима, разве что помягче нравом, а определили пусть и не в кремлевский полк оловянно стоять на часах перед Мавзолеем, но тоже все-таки не в последнее место — охранять полковников и генералов в секретных бункерах. Особенно было лестно отцу. Он в молодости, пришедшейся на начало 60-х, пытался штурмовать столичные крепостные стены, но, как я понимаю, его крепко полили с них раскаленным варом, и очаг ожога остался в нем глухой болью на всю жизнь. Даже вот такое сомнительное достижение, как моя срочная служба по охране подмосковных бункеров, виделось ему от этой боли некоей жизненной победой. Он первый и зажег во мне эту мысль — остаться в Москве. «Конечно, ты еще не нашел себя, тебе еще предстоит себя обрести, — написал он мне. — Но это как раз и хорошо. Ведь ты человек, который не может жить без цели, а Москва именно для таких. Главное, чтобы ты поскорее понял, чего хочешь от жизни».

Он был прав, я тогда еще не имел понятия, чего я хочу от жизни. Не представлял, что мне в ней делать. Но точно так же он прав был и в том, к какому разряду человеческих типов я принадлежу. А я принадлежу к тому типу, которому без жизненной цели — как алкашу без бутылки. Как наркоману без дозы. Ей-богу, никакого преувеличения. Не более чем сравнение, причем еще не самое сильное.

Но, наверное, я бы не решился последовать отцовской рекомендации, если б во мне не играла материнская кровь. Отцу можно посочувствовать, спутница жизни ему досталась еще та. Степная кобылица. Причем она оставалась не до конца обьезженной еще и тогда, когда мы с сестрой уже выросли. Не в смысле что мать наставляла ему рога, — об

этом я сказать не могу ничего. Тут, надо полагать, дело обстояло так же, как и у всех. Ее все время тащило куда-то в сторону из колеи, в которую была вправлена жизнь, вот я что имею в виду. Выламывало из рамок. Она на каждом шагу совершала поступки, касательно которых, стремясь к самому нейтральному определению, следует употребить слово «незаурядные». Однажды, например, она привела в дом и поселила у нас мальчишку-негритенка с соседней улицы. Да, как кому ни покажется странным, в наших утоп-ших среди брянских лесов семидесятитысячных Клинцах обитал такой экзотический экземпляр — дитя жаркой страсти дочери лесных Клинцов и сына черной Африки, чьи жизненные пути неисповедимым образом пересеклись в столице СССР — все той же Москве. Сын черного континента по охлаждению страсти к дочери славной Брянщины оставил ее, а дочь Брянщины привезла рожденного ею, как сказали бы в старые времена, выблядка, на свою малую родину, доверив его воспитание бабушке. Грубое для современного слуха слово «выблядок» более чем уместно в отношении такого несчастного плода любви, оказавшегося никому не нужным и рожденным лишь для того, чтобы с утра до вечера выслушивать проклятия не менее несчастной старухи, получая от нее бесконечные оплеухи и тумак. Старуха, кроме того, еще и основательно закладывала за воротник, и негритенок даже в зимнюю пору украшал улицу своим присутствием с утра до вечера.

Столовался и обогревался он по многим окрестным домам, но только моя мать решительно распахнула двери нашего жилища, чтобы он вошел в него постоянным обитателем. Месяц или два, что чернокожий воспитанник старухи-алкоголички провел в наших стенах, оказались для нас с сестрой испытанием на прочность и силу духа, хотя мы и были изрядно старше его: сестра на пять, а я на четыре года. Его появление в доме, несмотря на его шестилетний возраст, было подобно тому, как если б на нас обрушился ураган. Все наши игрушки и игры в мгновение ока были переломаны, книги порваны и исчерканы, мы не знали ни мига спокойной жизни: драки, крики, выяснение отношений. Отец уговаривал мать образумиться, но тщетно — она была нестигаема в своем желании подарить детство обделенному счастьем ребенку. От сожительства с бурей и ураганом в одном флаконе нас спас суровый и справедливый советский закон. Когда мать обратилась куда следует, чтобы официально оформить опеку, на нее накатила такой бюрократический

каток, что ей, помню, с трудом удалось уйти от уголовного преследования. Ее обвинили чуть ли не в похищении ребенка, и в результате дитя любви снежной Брянщи-ны и жаркой Африки вновь оказалось на улице, с которой, достигши необходимого возраста, благополучно удалилось в колонию для несовершеннолетних преступников.

Что же до отца, то он, если и не был подкаблучником, то вынужден все же был большей частью жить по уставу матери. Он был более слабой психической организации, чем она, и ему приходилось уступать ей. Мягкость и уступчивость вообще были свойственны ему, как, впрочем, в равной степени и неспособность свернуть в сторону с избранного пути. Если он что-то решил сделать, он пер, не обращая внимания на обстоятельства, — или непременно исполняя задуманное, или же расшибаясь в кровь.

Вот с такой наследственностью, ни в малой мере не осознаваемой мной тогда, я вместе с моим армейским корешем Стасом Преображенским и принимал решение остаться после дембеля в златоглавой и, скрутив по рукам и ногам, положить ее, побежденную, к своим ногам. В карауле, когда оказывались в одной смене, в часы после возвращения с поста, во время бодрствования, мы с ним только об этом и толковали: как после дембеля будем завоевывать столицу.

— Нет, ну а ты посуди сам, что самое сложное, — говорил он, прищамкивая. У него был какой-то дефект зубного прикуса, и речь его обладала этим старческим эффектом. — Самое сложное — это жилье, да? А с жильем у нас все будет в порядке, крышу над головой мы имеем. Так мы что же, не сумеем утоптать себе твердой площадки для жизни? Покантуемся-покантуемся — и перекантуемся.

У Стаса в Москве жил двоюродный брат. К этому его двоюродному брату, когда удавалось на пару выбить увольнение в Москву, мы, как правило, заходили, чтобы переодеться в гражданское и угоститься домашней едой. Он жил в самом центре, на Арбате, в трехэтажном доме на задах ресторана «Прага». Когда-то, сто лет назад, дом напрямую соединялся с «Прагой» и был, по преданию, борделем. Подтверждением тому служила его планировка: нескончаемо длинный сводчатый коридор, глухой с одной стороны, и ряд комнат с другой — дверь за дверью, дверь за дверью. Так и казалось, что из-за какой-нибудь из них выскочит сейчас полуодетая Катюша Маслова, а за нею, придерживая сваливающиеся штаны, вывалится и Нехлюдов. Впрочем, от разврата былых времен давно ничего не осталось, и теперь

это была обыкновенная задрипанная коммуналка на сто соседей, одну из комнат которой и занимал брат Стаса. Он был старше нас на двенадцать лет, но держался с нами запросто, как сверстник. Так же запросто держалась с нами его жена, а их семилетняя дочь, собиравшаяся осенью пойти в школу, просто обожала наши появления. Ее обожанию, надо признаться, мы были обязаны нашей форме, и ей жутко не нравилось, когда мы переоблачались в гражданское. Она тотчас теряла к нам всякий интерес, выказывая нам даже некий род презрения, и вновь обрести расположение ее сердца удавалось не раньше, чем мы опять оказывались в форме. «Падко девичье сердце на мишуру, — говорил двоюродный брат Стаса, прижимая дочку к себе и трепля ей волосы. — Что ж вы, барышни, глупенькие-то такие?» — «Мы не барышни, — недовольно выворачиваясь головой из-под его руки, но продолжая прижиматься, отвечала ему дочка, — мы современные девушки, у нас эмансипация». Мы со Стасом ложились от хохота в лежку. Она еще так старательно выговаривала — «эмансипация». Ее отец, тоже посмеиваясь, с горделивым смущением скидывал брови: «Вот такие мы просвещенные!»

Его звали диким древним именем Ульянов. Зато жена у него имела самое заурядное, серое имя Нина. При этом родовые гены, подвигшие родителей дать в свое время сыну никем больше не носимое имя, побудили, в свою очередь, его самого наградить дочь тоже никем вокруг не носимым древнегреческим именем Электра. Как ее, естественно, никто не звал, и прежде всего собственные родители. Во всяком случае, к нашему со Стасом появлению у них в доме она уже прочно и неискоренимо утвердилась как Лека.

И еще одна вещь произошла у них в доме к нашему со Стасом появлению. Вернее, не в доме, а в квартире. Они остались ее единственными жильцами.

Дом согласно решению московских властей возвращался обратно «Праге», и селить кого-то со стороны в него было запрещено. «Прага» обязалась предоставить жильцам возвращаемого ей дома новую жилплощадь, но делать это не торопилась, и на то у нее имелся свой резон. Большинство жильцов было преклонного возраста, редкий месяц обходился без гроба, и дом при необходимом терпении обещал достаться «Праге» без особых затрат. Из квартиры, где жил Ульянов с семьей, гробы выносили особенно часто: все остальные комнаты, кроме их, были заселены одним старичьем. Еще, ко всему тому, и сплошь одинокими. Старик

или старуха умирали — и комната их оставалась пуста, никто в нее не въезжал. Постепенно Ульянов занял одну пустующую комнату, другую — и так в конце концов стал обладателем целых семи, не считая громадной кухни и прилегающего к ней обширного чулана. В похоронах последней старухи мы со Стасом даже поучаствовали; появились здесь переодеться — и остались в мундирах: выносили гроб из квартиры на улицу, ехали потом в катафалке на кладбище и тащили гроб, лавируя между могилами, там. Участие в общем деле, да еще подобного рода, сделало меня в доме Ульяна совершенно своим. До этого я был армейским корешем Ста-са, и не более, после похорон меня стали воспринимать отдельно от него, и я обрел статус друга семьи.

Новый статус поставил меня наравне со Стасом и позволял с полным правом претендовать на то же, на что и Стас. Сил у Ульяна с Ниной распространиться на все комнаты не хватало, они сумели освоить только четыре, а три стояли закрытые. С ними и были связаны планы двух дембелей.

— А если вдруг Ульянов не захочет и не пустит нас? — вносил я в наш исполненный оптимизма караульный разговор со Стасом ноту сомнения.

— Чего ему не пустить? — без мгновения раздумья отметал Стас мои сомнения. — Места полно, девать некуда. Амы ему что, чужие?

— Ну, если Нина не захочет. Ей мы кто? Я особенно.

— И Нине мы не чужие, — отвечивал Стас.

— А если все-таки?

Стас наконец задумался. По его слегка вдавленному внутрь, лопатообразному сангвинистическому лицу пробегала как бы рябь, отражающая мыслительный процесс, что шел в нем.

— Они интеллигенты, — говорил он потом. — Как они откажут? Не смогут они отказать. Даже если им этого и не хочется.

Хотелось Ульяну с Ниной или не хотелось, осталось для нас неизвестным. Они дали согласие, чтобы мы поселились у них.

Так в августе 1992 года, ровно год спустя после трехдневной революции 91-го, о которой мне стало известно только в ее последний день, по возвращении из караула, сгоняв в Клинцы, погудев там дня три с друзьями детства до полного отвращения к себе и любой разновидности алкоголя, вновь обретя в кармане вместо военного билета удостоверяющий мое гражданское состояние паспорт, я

сделался москвичом. Не в родительском смысле этого слова, унизительно несшем в себе поощрительную натяжку, а в его абсолютно прямом, полном и истинном смысле.

Стас волей командования части демобилизовался полутора неделями раньше меня, раньше меня провернулся с делами в родном Саратове, и, когда я возвратился из Клинцов, у него уже была московская подружка.

— Ништяк, пацан, — сказал Стас, сообщив мне об этом и, должно быть, посочувствовав завидующему выражению моего лица. — И тебя тоже отоварим, в лучшем виде!

— Какой я тебе пацан! — не желая его сочувствия, попробовал я увести разговор в другую сторону.

— Пацан, пацан, — похмыкал Стас. — На гражданке так теперь положено говорить. Не слышал еще, да? — И вернулся к своему обещанию. — У моей Ирки сестра. Вполне себе кадр. Попробуй, подклейся. Что ей быть против. Вроде у нее никого. Перебьешься на первое время.

Было шесть двадцать утра, когда поезд принес меня на Киевский вокзал столицы, а около шести пополудни мы со Стасом шли арбатскими переулками в гости к сестренкам. День стоял теплый, солнечный, но уже тронутый осенью — полный сизой дымчатой хмари, солнечные лучи дробились и запутывались в ней, и воздух вокруг был, казалось, наполнен желтой пылью. Роскошный был день. Самое то, чтобы прочувствовать все великолепие не подчиненной никаким уставам вольной гражданской жизни. Пройтись арбатскими переулками — наслаждение в любую погоду, в такую — наслаждение вдвойне. А идти ими, неся в себе предвкушение близкого разговления после двух лет полного армейского поста... что ж, если я скажу, что не шел, а «летел», — это будет тривиально, но точно.

В руках у нас со Стасом подрагивали полиэтиленовые пакеты с надписью «Irish house — Ирландский дом», отягощенные двумя бутылками водки, бутылкой вина, бумажными свертками с колбасой, сыром и двумя килограммами летних яблок россыпью — всем, что, по нашему представлению, было необходимо для приятного времяпрепровождения с девочками, чьи родители находились неизвестно где в отъезде (где — до этого нам не было ни малейшего дела!), а то есть имелась ничем не ограниченная возможность оторваться от всей души. Отоваривались мы, конечно, отнюдь не в «Айриш хаузе», там торговали исключительно за валюту, и цены были такие — с нашим кошельком беги и не возвращайся, а фирменные пакеты для

понта мы выпросили у Нины. Их у нее и было всего две штуки, и, давая нам, она моляще сложила перед собой руки: «Мальчики, только принесите обратно. Заклинаю!»

— А с Иркой у тебя как, в первый же раз вышло? — примеряя успехи Стаса на себя и желая укрепить себя ими, спросил я.

— Ну, ты вот ты. скажи тебе все, — как-то особенно шамкаяще отозвался Стас через паузу.

— А чего б тебе нет? — удивился я. Такая его затаенность показалась мне странной. Слишком мы были близки, чтобы ему ни с того ни с сего так вот вдруг засмущаться. И потом же я не просил его делиться подробностями. Меня интересовал факт, не больше.

Теперь, вместо того чтобы ответить мне, Стас молча изобразил своим лопатообразным лицом нечто вроде упрека: стыд у тебя есть? — говорила эта его мина.

Смутное подозрение, пронзившее меня в ту минуту, смысл которого я бы не смог выразить, превратилось в полноценную уверенность, едва на наш звонок растворилась дверь квартиры.

Из глубины ее на нас рухнула громовая музыка, кипящий шум голосов, по прихожей с двумя бутылками шампанского в руках пронесся молодой человек в обтягивающей белой сорочке со стоячим воротничком, у которого были отогнуты вниз накрахмаленные углы. Воротничок туго перехватывала черная манжета, отогнутые углы воротничка, оттененные черным, ослепляли белизной снегов гималайских вершин. Молодой человек быстро глянул в нашу сторону, и глаза его за то кратчайшее мгновение, что были устремлены на нас, успели выразить удивление: а эти кто?!

Я почувствовал всю убогость нашего со Стасом вида. Что он, что я — мы оба были одеты по моде, можно сказать, дореволюционной эпохи. На мне был костюм, сшитый к выпускному школьному вечеру, ставший теперь узким по всем статьям; Стас же вообще красовался в какой-то полубрезентовой, похожей на пожарную куртке, которую он надел на зелено-коричневую ковбойку.

Но главное, вместо многообещающего интимного свидания при свечах и задернутых шторах — что как бы само собою предполагалось — нас здесь ожидало многолюдное шумное гульбище! И, очень похоже, место на этом гульбище отводилось нам далеко не центральное.

В дополнение ко всему открывший нам дверь мотылек смотрел на нас с полной оторопью (сравнение с мотыльком

так и напрашивалось: столь легко, столь воздушно, столь порхающе выглядело платье, в которое была облачена девушка).

— Вы что? Вы кто? Вы сюда? — проговорила мотылек затем.

Острое, горячее выражение недоуменной оторопи на ее лице по мере того, как смотрела на нас, мало-помалу отвердевало, превращаясь в маску высокомерного отторжения.

Я чувствовал себя в своем выпускном костюме ожившим ископаемым времен бронтозавров.

— Ира, ее. где. можно? — проблеял Стас.

Казалось, он совершенно натуральным образом заглотил кость и та теперь стоит у него поперек горла.

— Иру? — Маска отчуждения на лице мотылька с очевидным усилием перелепилась в гримасу вынужденной приветливости. Что бы мне ни наплел Стас, некая Ира здесь водилась. — Ира! Подойди! — крикнула девушка в глубь квартиры, извергающей из себя гром незнакомой мне музыки и пенящийся прибой множества голосов.

Музыку там притушили, прибой голосов тоже резко сбавил в громкости, и через мгновение в прихожую, цокоча каблукчиками, выпорхнул новый мотылек. Вытащив при этом за собой целый мотыльковый шлейф. Впрочем, вперемешку с жуками; молодые люди, все как один, были при параде: черный низ, белый верх. Мы со Стасом оказались выставлены на всеобщее обозрение. Среди молодых людей я заметил и того, со снегом гималайских вершин. Глаза его светились готовностью, если что, постоять за свои права со всей решительностью. Эта же готовность горела и в глазах остальных.

— Ира! — воскликнул Стас, ступая к мотыльку, летевшему впереди всех прочих. — Вот я, как обещал. И с другом!

— Ой! — сказала девушка, взглядевшись в него. И прыснула. — Вы в самом деле? И с другом!

Между тем мотыльковый рой оттеснялся черно-белыми жуками назад, — молодые люди один за другим выступали вперед, в действиях их отчетливо прочитывалась угроза.

— Ира! Вы пригласили! — внушающе проговорил Стас. Он так и не смог справиться со своей костью, и жалкой же вышла его попытка давления. С языка у него изошло не внушение, а мольба о снисхождении.

Но снисходительными с нами никто быть не собирался.

Какую-то пару минут спустя мы уже выходили из подъезда

на улицу, держа одолженные у Нины фирменные пакеты «Айриш хауза» под мышкой. Ручки у них были начисто оборваны в свалке, когда нас со Стасом выпроваживали из квартиры. Что говорить, просто так, собственной волей, покидать дом, полный мотылькового полыхания, нам никак не хотелось, и жукам, выпроваживая нас на лестничную клетку, пришлось потрудиться.

— Ну ты гад! — сказал я, опуская свой «Айриш хауз» с яблоками, колбасой и сыром на стоявшую около подъезда скамейку и принимаясь оправлять встопорщившийся, взлезший на шею, перекрутившийся едва не передом назад пиджак. — Подружка у него! Сестренка у нее! «Вполне себе кадр»! Ты этот кадр хотя бы раз в глаза видел?

Стас, последовав моему примеру, положил «Айриш хауз» из-под своей подмышки рядом с моим и тоже принялся наводить на себе порядок.

— Пардон, Сань, — сказал он голосом, полным раскаяния. — Ирка говорила про нее: клевый кадр!

— А сама Ирка? Твоя подружка, да?

Стас, одергивая свою пожарническую куртку, проверяя пальцами целостность ее пуговиц, выдержал мой саркастический взгляд со стоическим достоинством.

— Я так считал, — ответил он мне с прежней покаянностью. — Мы с ней от «Смоленского» гастронома, представляешь, где, да? на Садовом кольце тут, рядом, два часа до ее дома шли, уходить от меня не хотела, ей-бо, не вру! Я ей говорю, когда встретимся? Она говорит, давай завтра, родителей, говорит, не будет. Я, естественно, о тебе: друг у меня, вот она тогда — о сестренке.

— И так прямо: «клевый кадр», «вполне себе девушка»? — не удержался я, чтоб не съязвить еще раз.

— Ну, если я тебе чего и добавил, то из лучших же побуждений!

Мой саркастический настрой по отношению к Стасу стремительно преображался в смешанное чувство восторга и изумления. Стас открывался мне с новой стороны. Мне почудилось в нем что-то от гоголевского Ноздрева. В армии я его таким и не знал.

— Ладно, — сказал я, — давай думать, как нам достойно провести вечер, чтобы не хуже, чем планировалось. И что нам делать с этим, — я показал на «Айриш хаузы» с оборванными ручками на скамейке перед нами. — Что добру пропадать.

День стоял все той же хрипловатой ясности и блеска, солнечная пыльца все так же осыпала арбатские улицы

щедрым предосенним теплом, — но Боже мой, до чего же это был другой мир, до чего другой Замысел проглядывал в нем!

Мы вынырнули из переулков на бульварное кольцо, прошли сквером обратно до Арбатской площади, обогнули «Прагу» со стороны начищенного до парадного блеска балюстрадного фасада, невольно держа в памяти ее бордельного окраса испод, где мы теперь обитали, и вышли на аэродромный простор Нового Арбата, катящего посередине своего размашистого ущелья бликующие на солнце автомобильные валы.

В двухэтажном кафе «Валдай» в самом начале проспекта, которого там теперь нет и в помине, и лишь в одном уголке его разместился ресторан-трактир «Елки-палки», мы разжились парой граненых стаканов, устроились за столиком у окна, спиной к залу, и, вскрыв одну из бутылок водки, разбулькали ее. В стаканах получилось всклень, даже выгнулось куполом.

— Поехали, — сказал я, осторожно поднимая стакан и неся к губам.

— Поехали с орехами. Зараза! — отозвался Стас, тоже вознося стакан над столом.

Так, стаканами, и не отрываясь, зараз бутылку на двоих, мы обычно пили в армии. Выпить нужно было скорее, как можно быстрее, чтобы не застукали офицеры, — умение диктовалось обстоятельствами. Но никак нам не думалось, когда покупали эти бутылки, что придется пить их вновь по-армейски.

Мы опорожнили стаканы, посидели, глядя друг на друга заслезившимися невидящими глазами, и, вернувшись в мир, принялись закусывать — так же по-армейски: вырывая куски из колбасы и отламывая куски от сыра.

— Во блин! — сказал я, это и имея в виду: что приходится пить и есть таким негражданским способом.

— Да, блин! — поняв меня, промычал с набитым ртом Стас.

А как мы предвкушали неторопливую обстоятельность, с какой станем употреблять содержимое бутылок, как нам хотелось видеть колбасу нарезанной тонкими, едва не светящимися ломтиками, и такими же ломтиками нарезанный сыр — так, что, когда возьмешь на язык, все внутри отзовется восторгом гастрономического блаженства!..

Хрустя яблоками, обтертыми в гигиенических целях о тыл ладоней, мы вывалились из «Валдая» обратно на улицу. Новый Арбат, подобно навечно заведенному транспортеру,

рычал и бликовал несущимися посередине его простора машинами, по тротуару перед нами текла и бурлила цветная толпа. И сколько же билось, толклось в ее рое мотыльков, ожидавших нашего внимания!

— Пошли клеиться! — бросил Стас, устремляясь с крыльца вниз.

— Я буду не я, если мы никого не склеим! — выстреливая себя за ним, победным кликом ответил я.

Как мы плыли этой стороной Нового Арбата, бросаясь к каждой девушке, что двигалась нам навстречу, зубоскалили, терпели фиаско и с легкостью тут же кидались на новую добычу, — это я еще помню. Дальше в памяти у меня провал на несколько часов, и в нем лишь несколько ярких вспышек сознания, зафиксировавших с рельефной чувственностью: вот мы вслед за двумя несравненно обворожительными мотыльками, которые, как нам кажется, отвечают на наш клееж несомненной благосклонностью, садимся в троллейбус, покупаем у водителя и компостируем четыре проездных абонементов — на всех, едем. и вот уже обескураженно кружим по какому-то незнакомому району, не понимая, как из него выбраться, и где наши несравненные мотыльки, и что произошло, почему мы без них; вот мы уже снова неподалеку от Нового Арбата, только на другой стороне улицы, сидим в решетчатой беседке детской площадки во дворе большого, стоящего покоем кирпичного дома, допиваем остаток водки из второй бутылки и мучительно раздумываем, что делать с бутылкой вина: таскать ее с собой нам уже в такой труд, что дальше невозможно, но и выпить ее — тоже никаких сил. «Кроме того, — кричит Стас, ухватив меня за лацканы пиджака, — слабое после крепкого пить нельзя: сшибет с ног, сам говорил!» «Фиг меня что сшибет!» — отвечаю я, отцепляя от себя его руки, но пить не собираюсь, и мы вновь принимаемся терзаться вопросом, что же нам делать с вином; а вот мы метелимся с целой кодлой подростков, у нас уже ни вина, ни яблок — никаких пакетов в руках, мы со Стасом стоим друг к другу спиной, пацанов человек шесть или семь, и я чувствую: еще немного — и они меня завалят. Но звучит спасительный милицейский свисток, и мы вместе с пацанами на всей скорости летим от свистков, перемахиваем через низкий железный заборчик, перелезаем через высокий, так что приходится подтягиваться на руках, запинаясь, падаем, вскакиваем и летим дальше — лишь бы не попасть в руки милиции.

Сознание возвращается ко мне целиком в «Айриш хаузе».

Мы со Стасом, помятые и растерзанные (у меня, нащупываю я, на пиджаке ни одной пуговицы), еле стоящие на ногах, толчемся на контроле у касс и требуем выдать нам два фирменных пакета взамен утраченных.

— Поймите, — стараясь придать голосу трезвую рассудительность, втолковываю я дюжему охраннику, вперившемуся в меня каменным безразличным взглядом, — мы увас сделали покупки, но вышло так, что мы остались без них.

— Не будем говорить — как! — таким же усиленно трезвым голосом говорит Стас.

— Да, это неважно, — продолжаю я. — Но мы как порядочные люди не можем вернуться домой хотя бы без ваших пакетов.

— Хотя бы без них, — подтверждает Стас.

— Без них мы — никак, — добавляю я.

Не знаю, чему мы обязаны щедрости охранников, возможно, не столько убедительности наших речей, сколько убедительности нашего вида, но со второго этажа «Айриш хауза» мы спускаемся на улицу с двумя заветными пакетами в руках.

Нина, увидев нас, схватила лицо в ладони. Как это в испуге делают многие женщины.

— Мальчики, что с вами?!

Испытывая распирающее меня до размеров Вселенной блаженное чувство довольства, я подал ей добытые нами в тяжелом бою фирменные пакеты «Айриш хауза», которые нес из магазина прямо за ручки, не посмеяв ни смять их в кулаке, ни сунуть, свернув, в карман.

— Прошу, — сказал я. — В целости-сохранности. Как новенькие!

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.